

ВОЕННЫЙ РОМАНЪ.

т1

II.

ГРАФЪ Л. Н. ТОЛСТОЙ. (*)

Рассматривая произведенія писателей, изображавшихъ военный бытъ и вообще военные сцены, нельзя не замѣтить, что между ними довольно рѣзко выдѣляются два различныя направленія: одни стараются выставлять все въ свѣтломъ видѣ, выбирая для своихъ рассказовъ героевъ изъ военного быта, нерѣдко даже такихъ, какихъ трудно, почти невозможно встрѣтить на дѣлѣ; герои эти говорятъ самымъ отборнымъ языкомъ, дѣлаютъ чудеса, отличаются необыкновенными качествами душевными и физическими. Подобнаго рода писатели чаще всего встрѣчиваются во французской и нѣмецкой литературѣ; попадались они и у насъ въ тридцатыхъ годахъ, когда въ полной силѣ было увлеченіе произведеніями Марлинскаго. Наиболѣе же замѣчается это направленіе у французовъ, которымъ оно видимо нравится и до сихъ поръ Альфредъ де Винь не чуждъ отчасти такого направленія.

Совершенно иными представляются произведенія писателей другаго рода, тѣхъ, которые, не гонясь за вычурностію и эффектами, стараются только вѣрнѣе списывать съ натуры картины, ничего не прикрашивая и ничего не скрывая. Къ числу этого рода писателей слѣдуетъ отнести современныхъ намъ

(*) Въ современной литературѣ два писателя этой фамиліи: одинъ, графъ Левъ Николаевичъ, произведеніемъ котораго посвящена настоящая статья, другой графъ Алексѣй Константиновичъ, известный многими стихотвореніями, а особенно имѣвшими большой успѣхъ: романомъ „Князь Серебряный“ и драмою „Смерть Иоанна Грознаго“.

русскихъ авторовъ, очерчивавшихъ сцены военного быта, и во главѣ ихъ даровитаго графа Л. Н. Толстаго.

Въ послѣднее время появилось еще новое направлениe, которое пока имѣеть весьма мало послѣдователей; оно прямо противоположно писателямъ первого рода: какъ первые преувеличивають всѣ доблести и качества военныхъ, стараясь всюду отыскивать невѣроятныхъ героевъ, такъ послѣдователи новой школы, напротивъ, стараются выискивать въ военномъ быту противоположные типы, чтобы возможно реальне выставить всѣ ужасы войны и всю тягость нынѣшнихъ военныхъ системъ для современного общества. Къ послѣдователямъ этой новѣйшей школы принадлежать, скорѣе даже могутъ называться и основателями ея, французские писатели Эркманъ и Шатріанъ, которымъ мы намѣрены посвятить одинъ изъ слѣдующихъ очерковъ.

Очевидно, которое изъ этихъ трехъ направлений должно возбуждать наибольше сочувствіе и представители котораго могутъ расчитывать на наибольшее вліяніе на общество. Писатели, такъ сказать, героическихъ повѣстований и противоположной имъ по направленію новѣйшей школы представляютъ крайности, въ которыхъ слишкомъ рѣзко проявляется тенденціозность достигнуть извѣстной цѣли; этому желанію приносится все въ жертву: и истина и естественность; нарушая ту и другую, одни желаютъ возможно болѣе поднять значеніе военного сословія, облагородить его, поставить его на пьедесталъ; другіе же хотятъ, напротивъ, внушить почти отвращеніе къ войнѣ, какъ къ безчеловѣчной бойнѣ и къ самому военному званію, какъ къ несовмѣстному съ успѣхами современной цивилизаціи. Быть можетъ, отчасти и тѣ и другіе достигаютъ своей цѣли, но развѣ только относительно отдѣльныхъ личностей; масса же читателей произведеній этого рода не можетъ увлекаться ими, замѣчая въ нихъ натяжки, неестественность, а главное отсутствіе истины.

Совершенно иное впечатлѣніе производятъ писатели той категоріи, во главѣ которой мы поставили графа Л. Н. Толстаго; они не гоняются за эффектами, но всегда на первомъ планѣ ставятъ истину и вѣрность того, что изображаютъ; рѣдко даже они вдаются въ тонкій анализъ значенія того или другого типа или чувства, а только описываютъ ихъ со всей подробностью, и предоставляютъ на волю читателя дѣлать ка-

кіе-угодно выводы. Естественно, что подобный методъ изображенія воинского быта наиболѣе достовѣрнъ, что онъ можетъ сильнѣе дѣйствовать на читателя потому, что представляетъ картины, въ дѣйствительности которыхъ нельзѧ усомниться.

Графъ Л. Н. Толстой, какъ мы уже сказали, можетъ быть смѣло поставляемъ во главѣ писателей этой категории. Истина, какова бы она ни была, девизъ этого даровитаго писателя. Произведенія свое онъ самъ превосходно характеризуетъ въ одномъ изъ своихъ разсказовъ „Севастополь въ маѣ 1855 года“. Мастерски изобразивъ положеніе защитниковъ Севастополя, очертивъ художественно и вѣрно разныя личности, поставленныя въ различныя положенія, онъ въ заключеніе своего рассказа говоритъ:

„Вотъ я и сказалъ, что хотѣть сказать на этотъ разъ. Но тяжелое раздумье одолѣваетъ меня. Можетъ, не надо было говорить этого; можетъ быть то, что я сказалъ, принадлежитъ къ одной изъ тѣхъ залъ истинъ, которыхъ, безсознательно таись въ душѣ каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не скълдаться вредными, какъ осаданъ вина, который не надо вѣбалывать, чтобы не испортить его.

„Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать? гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣsti? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дураны.

„Ни Калугинъ, съ своей блестящей храбростю—bravoure de gentilhomme — и тщеславiemъ, движителемъ всѣхъ поступковъ, ни Праскухинъ, пустой, безвредный человѣкъ, хотя и павшій на брали за вѣру, престолъ и отечество, ни Михайловъ съ своей застѣачивостю, ни Пестъ, ребекокъ безъ твердыхъ убѣжденій и правилъ—не могутъ быть ни злодѣями, ни героями повѣsti.

„Герой же моей повѣsti, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ, есть и будетъ прекрасенъ—правда.“

Слова эти могутъ быть примѣнены почти во всѣмъ безъ исключенія произведеніямъ графа Толстаго. Въ нихъ обыкновенно нѣтъ героя и злодѣя; въ основѣ ихъ не лежитъ никакой интриги, нѣтъ никакой запутанности дѣйствій; это все картины съ натуры, списанные съ безукоризненною правдивостю и живостю, возстановляющія передъ глазами читателя и полные очерки дѣйствующихъ лицъ и всю ихъ обста-

новиу. Таковъ характеръ всѣхъ повѣстей графа Толстаго, какъ описывающихъ сцены военной жизни, такъ и тѣхъ, ко-
торыя не имѣютъ отношенія къ военному быту.

Первое мѣсто между произведеніями графа И. Н. Толстаго безспорно занимаютъ его повѣсти: „Дѣтство“, „Отрочество“ и „Юность“, появившіяся сперва въ „Современникѣ“, а потомъ и отдельнымъ изданіемъ въ 1856 г. Въ томъ же году вышли отдельною книжкою „Военные разсказы“: „Набѣгъ“ (рассказъ волонтера), „Рубка лѣса“ (рассказъ юнкера) и три превосход-
ныхъ очерка Севастополя въ декабрѣ 1854, въ маѣ и въ ав-
густѣ 1855 года.

Этихъ однихъ произведеній достаточно было бы, чтобы упрочить за авторомъ громкую извѣстность; но послѣ того по-
явилось еще нѣсколько произведеній графа Толстаго, и въ
томъ числѣ большая повѣсть „Казаки“, которую однако нельзя
не признать значительно слабѣе всѣхъ другихъ твореній того
же автора (*). На конецъ, въ „Русскомъ Вѣстнике“ 1865 и
1866 г., напечатанъ романъ: „1805 годъ“, который послужилъ
началомъ самого капитальнаго произведенія автора, романа
„Война и Миръ“, появившагося недавно и еще неконченаго.
Это новое произведеніе, изображающее богатую событиями
эпоху съ 1805 по 1812 г., принадлежитъ къ числу замѣ-
тельнейшихъ явлений нашей литературы и показываетъ, что
талантъ графа Толстаго достигъ полноты своего развитія.

Намѣреваясь посвятить, когда окончится изданіе этого ро-
мана, особую ему статью, остановимся на нѣкоторыхъ изъ
прежнихъ твореній графа Толстаго и преимущественно на
тѣхъ, содержаніе которыхъ заимствовано изъ военного быта.

Произведенія этого послѣдняго рода почти исключительно
заимствованы изъ событій кавказской войны, обороны Севасто-
поля и войнъ наполеоновскаго периода, то есть изъ такихъ
эпохъ, когда военная жизнь получаетъ полное свое развитіе,
когда самые личности военнослужащихъ какъ бы освѣщаются
полнымъ свѣтомъ, когда каждая черта военныхъ типовъ выка-
зывается рельефище. Здѣсь является просторъ наблюданіи-
сти автора, отъ которой не ускользаетъ ни одна сколько-ни-
будь характеристическая черта; цѣлая картина ложится на бума-

(*) Всѣ эти сочиненія графа И. Н. Толстаго, кроме его романа „Война и Миръ“, изданы въ 1864 году въ двухъ томахъ, въ С.-Петербургѣ, г. Ф. Степлов-
скимъ.

гу, и вы встречаете наглядное изображение того, что неоднократно видѣли, что, быть можетъ, испытывали и сами; здѣсь нѣтъ никакихъ отборныхъ сторонъ, исключительныхъ личностей: все ваши старые знакомые, сослуживцы, съ которыми вамъ неоднократно приходилось бывать въ столкновеніяхъ. Притомъ, изображая эти личности, граѳъ Толстой не утруждаетъ читателя длинными описаніями характера и наружности своихъ героевъ; точно также и картины природы, сцены военного быта, различныхъ положенія лицъ не очерчиваются подробными до утомленія разсказами. Для всего этого у автора есть своя особенная, лично ему принадлежащая манера описанія: нѣсколько мѣткъ, но выразительныхъ словъ, сжато, но необыкновенно ясно очерчиваются личность или известное положеніе. Въ особенности это качество автора развилось въ послѣдніяхъ его произведеніяхъ; въ первыхъ же военныхъ разсказахъ описанія иногда длинноваты. Авторъ какъ бы боится, что выставляемая имъ личность недостаточно будетъ имъ выяснена нѣсколькими чертами, а потому и старается разъяснять эти черты, выказывать ихъ значение при разныхъ положеніяхъ описываемой личности. Это замѣтно въ его кавказскихъ разсказахъ „Набѣгъ“ и „Рубка лѣса“. И здѣсь есть личности, обрисованныя кратко, сжато, съ свойственною граѳу Толстому манерою; но большинство лицъ обрисовано въ болѣе обширной повѣствовательной формѣ. Такъ, напримѣръ, въ названныхъ двухъ разсказахъ выведены личности двухъ кавказскихъ ротныхъ командировъ, капитана Тросенко и капитана Хлопова; оба имѣютъ много общаго, хотя и сохраняютъ свою индивидуальность; очерчены же ихъ характеры различно. Личность капитана Тросенко обрисована слѣдующими рѣзкими чертами: „Капитанъ Тросенко былъ старый кавказецъ, въ полномъ значеніи этого слова, то есть человѣкъ, для которого рота, которою онъ командовалъ, сдѣлалась семействомъ, крѣпость, гдѣ былъ штабъ—родиной, а пѣсенники—единственными удовольствіями жизни, человѣкъ, для которого все, что не было Кавказъ, было достойно презрѣнія да и почти недостойно вѣроятія. Все же, что было Кавказъ, раздѣлялось на двѣ половины: нашу и не нашу; первую онъ любилъ, вторую ненавидѣлъ всѣми силами своей души, и главное, онъ былъ человѣкъ закаленной, спокойной храбости, рѣдкой доброты въ отношеніи къ своимъ товарищамъ и подчиненнымъ и отчаянной прямоты и даже дер-

зости въ отношеніи къ ненавистнымъ для него почему-то адъютантамъ и бонжурамъ".

Въ этихъ немногихъ словахъ мѣтко очерчена полная личность въ разсказѣ „Рубка лѣса“. Совершенно такая же личность и капитана Хлопова въ разсказѣ „Набѣгъ“; но, очерчивая ее, авторъ вдается въ значительно большія подробности разныхъ сторонъ этого типа. И для Хлопова Кавказъ замѣняетъ родину, хотя у него есть мать и сестра въ Россіи, то есть въ губерніяхъ непавловскихъ; роднымъ онъ пишетъ рѣдко, разъ разъ въ годъ, когда посыпаетъ матери деньги, удѣляя ей часть своего жалованья. Доброты онъ также необыкновенной къ товарищамъ и подчиненнымъ, но точно также не спустить ничего штабному лицу, особенно кому-нибудь адъютанту или бонжурѣ, къ которымъ всадѣ, не на одномъ только Кавказѣ, строевые вообще крайне нерасположены и не стараются даже скрывать своего нерасположенія. Относительно храбрости и Хлоповъ и Тросенко представляютъ типы спокойнаго, несуетливаго мужества, полнѣшаго хладнокровія въ самыя тяжкія минуты; они оба до того проникнуты этимъ чувствомъ, такъ оно усвоено ими, что даже не понимаютъ, чтобы могло быть иначе.

Обрисовывая личность капитана Хлопова въ разсказѣ „Набѣгъ“, графъ Толстой выставилъ именно въ этой личности образчикъ той спокойной, хладнокровной храбрости, которая тань часто встречается въ нашихъ войскахъ и почти можетъ быть названа принадлежностью чисто-русскаго характера. Очень вѣрно опредѣляетъ авторъ этого рода храбрость въ разсказѣ „Рубка лѣса“:

„Духъ русскаго солдата“, говорить онъ, „не основанъ такъ, какъ храбрость южныхъ народовъ, на скоровоспламеняемомъ и остывающемъ энтузиазмѣ; его такъ же трудно разжечь, какъ и заставить участь духомъ. Для него не нужны эффекты, рѣчи, воинственные крики, пѣсни и барабаны: для него нужны, напротивъ, спокойствие, порядокъ и отсутствіе всего натянутаго. Въ русскомъ, настоящемъ русскомъ солдатѣ никогда не замѣтите хвастовства, ухорства, желанія отуманиться, разгорячиться вовремя опасности: напротивъ, скромность, простота и способность видѣть въ опасности совсѣмъ другое, чѣмъ опасность, составляютъ отличительныя черты его характера. Я видѣлъ солдата, раненаго въ ногу, въ первую минуту жалѣвшаго

только о пробитомъ новомъ полушибкѣ, ъздаваго, вылезающаго изъ-подъ убитой подъ нимъ лошади и растягивающаго подпругу, чтобы снять сѣдло».

Этого-то рода храбрость авторъ и олицетворилъ въ капитанѣ Хлоповѣ, главномъ лицѣ въ разсказѣ „Набѣгъ“. Содержаніе разсказа очень просто.

Отрядъ собирается въ крѣпости и ночью идетъ въ экспедицію, чтобы разрушить непокорный аулъ; сдѣлавъ свое дѣло, отрядъ возвращается и, при отступленіи, горцы насыдаются на арьергардъ, въ которомъ находится капитанъ Хлоповъ.

Весь разсказъ авторъ ведеть отъ своего имени, какъ-бы участвую волонтеромъ въ ротѣ капитана Хлопова, и прежде всего обрисовывается, какое понятіе сложилось у самого капитана о храбрости. По его понятіямъ, не тотъ храбръ, кто суетится туда, где его не спрашиваютъ, а *тотъ, который ведетъ себѣ какъ сльдуетъ*.

„Я вспомнилъ“—говорить авторъ, выслушавъ это опредѣленіе капитана—„что Платонъ опредѣляетъ храбрость знаніемъ *чего нужно и чего не нужно бояться*, и, несмотря на общность и неясность выраженія въ опредѣленіи капитана, я подумалъ, что основная мысль обоихъ не такъ различна, какъ могло бы показаться, и что даже опредѣленіе капитана вѣрнѣе опредѣленія греческаго философа, потому что если бы онъ могъ выражаться такъ же, какъ Платонъ, онъ, вѣрно, сказалъ бы, что храбръ тотъ, кто боится только того, *чего сльдуетъ бояться, а не того, чего не нужно бояться*.“

„Мнѣ хотѣлось“—продолжаетъ авторъ—„объяснить свою мысль капитану.

— „Да—сказалъ я—мнѣ кажется, что въ каждой опасности есть выборъ, и выборъ сдѣланный подъ вліяніемъ, напримѣръ, чувства долга, есть храбрость, а выборъ, сдѣланный подъ вліяніемъ визкаго чувства—трусость: поэтому человѣка, который изъ тщеславія, или изъ любопытства, или изъ алчности рискуетъ жизнью, нельзя назвать храбрымъ, и, наоборотъ, человѣка, который, подъ вліяніемъ честнаго чувства семейной обязанности или просто убѣжденія, откажется отъ опасности, нельзя назвать трусомъ.“

Разсужденія эти оказались непонятными для капитана, которому, конечно, никогда и въ голову не приходило анализировать что такое храбрость, отчего она зависитъ и почему самъ

онъ храбръ. Въ немъ храбрость была естественнымъ явленіемъ, до того естественнымъ, что онъ самъ не замѣчалъ этого.

Посмотримъ же теперь, каковъ капитанъ Хлоповъ въ трудномъ дѣлѣ отступленія, при настойчивомъ преслѣдованіи горцевъ. Вотъ разсказъ автора:

„Генералъ (командовавшій отрядомъ) съ конніцею поѣхалъ впередъ. Баталіонъ, съ которымъ я шелъ изъ крѣпости N, остался въ аріергардѣ. Роты капитана Хлопова и поручика Розенкранца отступали вмѣстѣ.

Предсказаніе капитана вполнѣ оправдалось: какъ только мы вступили въ узкій перелѣсокъ, про который онъ говорилъ, съ обѣихъ сторонъ стали безпрестанно мелькать конные и пѣшие горцы, и такъ близко, что я очень хорошо видѣлъ, какъ нѣкоторые, согнувшись, съ винтовкой въ рукахъ, перебѣгали отъ одного дерева къ другому.

Капитанъ снялъ шапку и набожно перекрестился, нѣкоторые старые солдаты сдѣлали то же. Въ лѣсу послышались гиканье, слова: іай гауръ! урусь іай! Сухіе, короткіе винтовочные выстрѣлы слѣдовали одинъ за другимъ, и пули визжали съ обѣихъ сторонъ. Наши молча отвѣчали бѣглымъ огнемъ; въ рядахъ ихъ только изрѣдка слышались замѣчанія въ родѣ слѣдующихъ: онъ (*) откуда палить, ему хорошо изъ-за лѣса, орудію бы нужно.... и т. д.

„Орудія вѣзвѣжали въ цѣпь, и, послѣ нѣсколькихъ залповъ картечью, непріятель, казалось, ослабѣвалъ, но черезъ минуту и съ каждымъ шагомъ, который дѣлали войска, снова усиливались огонь, крики и гиканье.

„Едва мы отступили сажень на триста отъ аула, какъ надъ нами со свистомъ стали летать непріятельскія ядра. Я видѣлъ, какъ ядромъ убило солдата.... но зачѣмъ разсказывать подробности этой страшной картины, когда я самъ дорого бы далъ, чтобъ забыть ее!

„Поручикъ Розенкранцъ самъ стрѣлялъ изъ винтовки, не умолкая ни на минуту, хриплымъ голосомъ кричалъ на солдатъ и во весь духъ скакалъ съ одного конца цѣпи на другой. Онъ былъ нѣсколько блѣденъ, и это очень шло къ его воинственному лицу.

(*) Онъ—собирательное название, подъ которымъ кавказские солдаты разумѣютъ вообще непріятеля.

Хорошенький прапорщикъ былъ въ восторгѣ: прекрасные черные глаза его блестѣли отвагой, ротъ слегка улыбался; онъ, безпрестанно подѣжжалъ къ капитану и просилъ его позво-ленія броситься на ура.

— Мы ихъ отобьемъ, убѣдительно говорилъ онъ: право, отобьемъ.

— Не нужно, кротко отвѣчалъ капитанъ, надо отступать.

Рота капитана занимала опушку лѣса и лежа отстрѣливалась отъ непріятеля. Капитанъ, въ своемъ ианошенномъ сюртукѣ и взъерошенной шапочкѣ, опустивъ поводья бѣлому машточкику (*) и подкорчивъ на короткихъ стременахъ ноги, молча стоялъ на одномъ мѣстѣ. (Солдаты такъ хорошо знали и дѣлали свое дѣло, что нечего было приказывать имъ.) Только изрѣдка онъ возвышалъ голову, прикрикивая на тѣхъ, которые подымали головы. Въ фигурѣ капитана было очень мало воинственного; но за то въ ней было столько истины и про-стоты, что она необыкновенно поразила меня. Вотъ кто истинно храбръ, сказалось мнѣ невольно.

„Онъ былъ точно такимъ же, какимъ я всегда видалъ его: тѣ же спокойные движения, тотъ же ровный голосъ, то же выраженіе безхитростности на его нѣкрасивомъ, но простомъ лицѣ: только по болѣе, чѣмъ обыкновенно, свѣтлому взгляду можно было замѣтить въ немъ вниманіе человѣка, спокойно занятаго своимъ дѣломъ. Легко сказать: *такимъ же, какъ и всегда*; но сколько различныхъ оттѣнковъ я замѣчалъ въ другихъ: одинъ хочетъ казаться спокойнѣе, другой суро-вѣе, третій веселѣе, чѣмъ обыкновенно; по лицу же капитана замѣтно, что онъ и не понимаетъ, зачѣмъ казаться.

„Французъ, который при Ватерлоо сказалъ: *la garde meurt, mais ne se rend pas*, и другіе, въ особенности француз-скіе, герои, которые говорили достопамятныя изрѣченія, были храбры и дѣйствительно говорили достопамятныя изрѣченія; но между ихъ храбростью и храбростью капитана есть та разница, что если бы великое слово, въ какомъ бы то ни было слѣчѣ, даже шевелилось въ душѣ моего героя, я увѣренъ, онъ не сказалъ бы его: во-первыхъ потому, что сказавъ великолѣкое слово, онъ боялся бы этимъ самымъ испортить великое дѣло, а во-вторыхъ потому, что когда человѣкъ чувствуетъ въ себѣ силы сдѣлать великое дѣло, какое бы то ни было слово

(*) Маштакъ, на кавказскомъ нарѣчіи, значитъ небольшая лошадь.

не нужно. Это, по моему мнѣнію, особенная и высокая черта русской храбрости; и какъ же послѣ этого не болѣть русскому сердцу, когда между нашими молодыми воинами слышишь французскія пошлыя фразы, имѣющія претензію на подражаніе устарѣлому французскому рыцарству?...

„Вдругъ въ той сторонѣ, гдѣ стоялъ хорошенъкій прапорщикъ со взводомъ, послышалось недружное и негромкое ура. Отглянувшись на этотъ крикъ, я увидѣлъ человѣкъ тридцать солдатъ, съ ружьями въ рукахъ и мѣшкомъ на плечахъ, на силу-насилу бѣжали по вспаханному полю. Они спотыкались, но все подвигались впередъ и кричали. Впереди ихъ, выхвативъ шашку, скакалъ молодой прапорщикъ.

„Все скрылось въ лѣсу....

„Черезъ нѣсколько минутъ гиканья и трескотни, изъ лѣсу выбѣжала испуганная лошадь, и въ опушкѣ показались солдаты, выносившіе убитыхъ и раненыхъ; въ числѣ послѣднихъ былъ молодой прапорщикъ. Два солдата держали его подъ мышки. Онъ былъ блѣденъ какъ платокъ, и хорошенъкая головка, на которой замѣтна была только тѣнь того воинственного восторга, который воодушевлялъ ее за минуту передъ этимъ, какъ-то страшно углубилась между плечъ и спустилась на грудь. На бѣлой рубашкѣ, подъ разстегнутымъ сюртукомъ, виднѣлось небольшое кровавое пятнышко.

— „Ахъ, какая жалость!“ сказалъ я невольно, отворачиваясь отъ этого печального зрѣлища.

— „Извѣстно, жалко“ — сказалъ старый солдатъ, который, съ угрюмымъ видомъ, облокотясь на ружье, стоялъ подлѣ меня. — „Ничего не боится: какъ же вѣтакъ можно!“ прибавилъ онъ, пристально глядя на равнаго. „Глупъ еще — вотъ и поплатился.“

— „А ты развѣ боишься?“ спросилъ я.

— „А то нѣтъ!“

Здѣсь авторъ является не только разскажчикомъ, но и психологомъ, который усматриваетъ всѣ мельчайшія движенья души и безпощадно выставляетъ ихъ такъ, какъ они есть, а не таѣ, какъ обыкновенно стараются ихъ выставить. Иной писатель, особенно французъ, изображая, напримѣръ, храбрость своего героя, удовольствовался бы описаніемъ только вѣнчанихъ признаковъ проявленія этой храбрости, не считая нужнымъ заглядывать въ самую душу; графъ Толстой, будучи не только художникомъ, но и философомъ-психо-

логомъ, не ограничивается описаниемъ одной вѣшности, но заглядываетъ въ самыя затаенные мысли и изображеніемъ ихъ дополняетъ свое описание. Вотъ, напримѣръ, эпизодъ изъ разсказа „Рубка лѣса“, гдѣ авторъ представляетъ довольно бѣглый анализъ того, что происходитъ въ человѣкѣ, когда онъ стоитъ подъ непріятельскимъ выстрѣломъ. Надо замѣтить, что въ этомъ разсказѣ рѣчь ведеть артилерійскій юнкеръ, командующій, за отсутствіемъ офицера, двумя орудіями находящимися въ прикрытии команды, производящей рубку. Юнкера приглашаютъ тутъ же въ цѣпи позавтракать пѣхотный ротный командръ, капитанъ Болховъ. Не можемъ не остановиться на сжатой, но выразительной характеристики этого офицера, представляемой авторомъ.

„Ротный командръ Болховъ былъ одинъ изъ офицеровъ, называемыхъ въ полку *бонжурами*. Онъ имѣлъ состояніе, служилъ прежде въ гвардіи и говорилъ по-французски. Но, несмотря на это, товарищи любили его. Онъ былъ довольно уменъ и имѣлъ достаточно такта, чтобы носить петербургскій сюртукъ, есть хорошій обѣдъ и говорить по-французски, не слишкомъ оскорбляя общество офицеровъ.“

Можно еще прибавить, что, какъ видно изъ словъ самого Болхова, онъ недоволенъ своимъ положеніемъ на Кавказѣ, служить неохотно, но считаетъ невозможнымъ для себя вернуться въ Россію до тѣхъ поръ, пока не получить Анны и Владимира, Анны на шею и чинъ майора.

Закусывая вмѣстѣ съ юнкеромъ подъ деревомъ только что разогрѣтыми битками, этимъ самымъ обыкновеннымъ офицерскимъ блюдомъ, Болховъ, сознается, что чувствуетъ себя неспособнымъ къ кавказской службѣ, что не можетъ переносить опасности, короче сказать, что онъ не храбръ.

— „Знаете, я въ нынѣшній отрядъ въ первый разъ въ дѣлѣ“, продолжалъ онъ, „и вы не можете себѣ представить, что со мной вчера было. Когда фельдфебель принесъ приказаніе, что моя рота назначена въ колонну, я поблѣдѣлъ какъ полотно и не могъ говорить отъ волненія. А какъ я провелъ ночь, ежели бы вы знали.... Если правда, что сѣдѣютъ отъ страха, то я бы долженъ быть совершенно бѣлый нынче, потому что, вѣрно, ни одинъ приговоренный къ смерти, не прострадалъ въ одну ночь столько, какъ я; даже и теперь, хотя мнѣ и легче немножко, чѣмъ ночью, но у меня здѣсь вотъ что идетъ“, прибавилъ

онъ, веря кулакъ передъ своей грудью.—„И что смѣшио“, продолжалъ онъ, „что здѣсь ужаснѣйшая драма разыгрывается, а самъ Ѳвшь битки съ лукомъ и увѣряешь, что очень весело. Вино есть, Николаевъ?...“ прибавилъ онъ зѣва.

— „Это онъ, братцы мои!“ послышался въ это время встревоженный голосъ одного изъ солдатъ, и всѣ глаза обратились на опушку дальняго лѣса.

— „Вдали увеличивалось и, уносясь по вѣтру, поднималось голубоватое облако дыма. Когда я понялъ, что это былъ противъ насъ выстрѣль непріятеля, все, что было на моихъ глазахъ въ эту минуту, все вдругъ приняло какой-то новый величественный характеръ. И козлы ружей, и дымъ костровъ, и голубое небо, и зеленые лафеты и загорѣлое, усатое лицо Николаева, все это какъ будто говорило мнѣ, что ядро, которое вылетѣло уже изъ дыма и летить въ это мгновеніе въ пространствъ, можетъ быть направлено прямо въ мою грудь.

— „Вы гдѣ брали вино?“ лѣниво спросилъ я Болхова, между тѣмъ, какъ въ глубинѣ души моей одинаково внятно говорили два голоса: одинъ—Господи, пріими духъ мой съ миромъ, другой—надѣюсь не нагнуться, а улыбаться въ то время, какъ будетъ пролетать ядро, и въ то же мгновеніе надъ головою просвистѣло что-то ужасно непріятно и въ двухъ шагахъ отъ насъ шлепнулось ядро.

— „Вотъ если бы я былъ Наполеонъ или Фридрихъ“—сказалъ въ это время Болховъ, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мнѣ—„я бы непремѣнно сказалъ какую-нибудь любезность.

— „Да вы и теперь сказали“, отвѣчалъ я, съ трудомъ скрывая тревогу, произведенную во мнѣ прошедшей опасностію.

— „Да что жъ что сказалъ, никто не запишетъ.

— „А я запишу.

— „Да вы ежели и запишете, такъ въ критику, какъ говорить Мищенковъ“, прибавилъ онъ, улыбаясь.

— „Тьфу ты проклятый!“ сказалъ въ это время сзади насъ Антоновъ, съ досадой плюя въ сторону:—„тропки по ногамъ не задѣла.“

— „Все мое старанье казаться хладнокровнымъ и всѣ наши хитрыя фразы показались мнѣ вдругъ невыносимо глупыми послѣ этого простодушнаго восклицанія.“

Все это какъ нельзѧ болѣе естественно, особенно стараніе молодаго юнкера казаться спокойнымъ въ то время, когда на душѣ, что называется, кошки скребутъ. У Болхова также бури въ груди, а онъ хладнокровно улыбается въ то время, когда ядро проносится надъ его головою; онъ старается очевидно думать не о настоящемъ своемъ положеніи, а о томъ, что сдѣлали бы Наполеонъ да Фридрихъ, находясь въ его положеніи.

Такою же естественностью отличаются и вообще всѣ личности, являющіяся въ разсказахъ графа Толстаго: это вовсе не герои, а самые обыкновенные люди, которые, какъ прилично всѣмъ смертнымъ, не любять умирать хотя бы даже и со славою, но которые, тѣмъ не менѣе, честно исполняютъ свой долгъ, и когда того требуютъ обстоятельства, являются очень и очень храбрыми людьми. Такое изображеніе ихъ во всей полнотѣ достоинствъ и недостатковъ не только не рождаетъ ихъ, напротивъ, возбуждаетъ къ нимъ еще болѣе сочувствія и уваженія.

При дальнѣйшемъ обзорѣ сочиненій графа Толстого мы неоднократно будемъ еще имѣть случай указывать на разносторонность его изображеній и на полноту характеристики описываемыхъ имъ лицъ. Теперь же, чтобы покончить съ кавказскими разсказами, скажемъ нѣсколько словъ о другихъ лицахъ, выводимыхъ авторомъ.

Лицъ этихъ довольно много, но каждое изъ нихъ имѣть свою своеобразную физіономію, которая могла выработаться только на Кавказѣ. Нѣкоторые изъ подобныхъ типовъ перевелись уже, какъ вслѣдствіе совершенно измѣнившагося направленія вообще нашего общества, такъ и потому, что самыи Кавказъ потерялъ свою боевую поэтичность, которая многихъ манила туда и подъ вліяніемъ которой вырабатывались особенные типы. Къ числу такихъ, почти исчезнувшихъ уже, типовъ принадлежитъ личность поручика Розенкранца, изображаемая графомъ Толстымъ въ разсказѣ „Набѣгъ“. Это типъ удальца, который, воспитавшись на Марлинскомъ и Лермонтовѣ, руководствуется во всемъ не собственными своими наклонностями, а примѣромъ героевъ нашего времени, Мулла-Нуровъ и т. под. Будучи отъ природы одаренъ весьма добрымъ сердцемъ, Розенкранцъ считалъ себя обязаннымъ заставить страдать людей, въ которыхъ онъ будто бы былъ разочарованъ и которыхъ будто бы презиралъ и ненавидѣлъ; чувства мести и пре-

зрѣнія ко всему роду человѣческому, по его мнѣнію, были самыя высокія поэтическія чувства.

„Поручикъ—говорить авторъ, обрисовывая личность Розенкранца—любилъ, напримѣръ, можетъ быть общество порядочныхъ женщинъ и важныхъ людей—генераловъ, полковниковъ, адютантовъ; даже я увѣренъ, что онъ очень любилъ это общество, потому что онъ былъ тщеславенъ въ высшей степени—но онъ считалъ своей непремѣнной обязанностію поворачиваться своей грубой стороной ко всѣмъ важнымъ людямъ, хотя грубилъ имъ весьма умѣренно, и когда появлялась какая-нибудь барыня въ крѣпости, то считалъ своей обязанностію ходить мимо ея оконъ съ кунаками (*) въ одной красной рубахѣ и однихъ чувакахъ на босую ногу, и какъ можно громче кричать и браниться; но все это не столько съ желаніемъ оскорбить ее, сколько съ желаніемъ показать, какія у него прекрасныя бѣлые ноги и какъ можно бы было влюбиться въ него, если бы онъ самъ захотѣлъ этого.“

И этотъ же самый человѣкъ, всегда старавшійся казаться не тѣмъ чѣмъ былъ, а чѣмъ хотѣлъ быть, дома, у себя, являлся добрымъ и кроткимъ существомъ, по вечерамъ писалъ свои записки, сводилъ счеты на разграфленной бумагѣ и на колѣнахъ молился Богу.

Замиреніе Кавказа должно конечно уничтожить подобные типы, неестественные, выходящіе изъ ряда обыкновенныхъ личностей; но къ нимъ, сказать правду, нельзя не отнестиъ съ уваженіемъ, особенно если сравнить такого рода типъ съ другимъ, паралельнымъ ему, развившимся лѣтъ тридцать тому назадъ въ нашей арміи, расположенной въ Кавказа. Кавказская удаль старалась подражать дикимъ горцамъ, выказывала пренебреженіе и непріязнь ко всѣмъ европейскимъ понятіямъ и идеямъ и находила себѣ просторъ и исходъ въ войнѣ; напротивъ того, удаль въ-кавказскихъ храбрецовъ, порожденная, быть можетъ, тѣми же потребностями, выражалась въ безобразныхъ кутежахъ, попойкахъ, въ открытой непріязни и даже борьбѣ противъ всего, что не принадлежало къ составу арміи, противъ всѣхъ установившихся въ обществѣ приличій и понятій. Къ счастію, и этотъ уродливый типъ сталъ исчезать въ рядахъ нашей арміи еще прежде, чѣмъ перевелся на Кавказъ типъ разочарованныхъ храбрецовъ—джигитовъ.

(*) Кунакъ—пріятель, другъ, на кавказскомъ нарѣчіи.

Изъ другихъ личностей, воспроизведеныхъ графомъ Толстымъ въ его кавказскихъ разсказахъ, можно указать еще на пустую, постоянно занятую лишь тѣмъ, чтобы не уронить своего начальническаго достоинства, фигуру маюра Кирсанова, на скромную, тихую личность прaporщика, баталіоннаго адъютанта, наконецъ на хвастливаго капитана генерального штаба Крафта, котораго авторъ вполнѣ характеризируетъ словами: „это нѣмецъ, который хочетъ быть хорошимъ товарищемъ“. Всѣ эти личности, вмѣстѣ съ капитаномъ Тросенко, сходятся послѣ дѣла въ балаганѣ Болхова и авторъ заставляетъ ихъ вести здѣсь одинъ изъ тѣхъ общихъ разговоровъ, которые такъ часто можно слышать въ офицерской компаніи. Разговоръ этотъ хотя нѣсколько и стѣсненъ присутствиемъ чванливаго майора Кирсанова, однако въ немъ перебраны всѣ обыкновенные предметы подобныхъ бесѣдъ: и кое-какія воспоминанія о Россіи, и важный вопросъ о томъ, достаточно ли молодому офицеру получаемаго имъ жалованья; не забыты и воспоминанія, конечно преувеличенныя, о прежнихъ походахъ и дѣлахъ. Все это чрезвычайно живо и дополняетъ художественную и какъ нельзя болѣе правдивую обрисовку выведенныхъ личностей.

Нельзя не замѣтить, что графъ Толстой по преимуществу очерчиваетъ личности офицеровъ, весьма рѣдко затрагивая солдатскіе типы и вообще сцены изъ чисто-солдатской жизни. Только въ одномъ разсказѣ „Рубка лѣса“, авторъ проводитъ передъ читателемъ цѣлый рядъ артилерійскихъ солдатъ, разоблачая эти простыя, безхитростныя натуры.

Здѣсь же графъ Толстой очерчиваетъ и тѣ главнѣйшия типы, въ какихъ проявляется личность нашего солдата. Хотя очеркъ этотъ и отзывается стремленіемъ къ систематичности, желаніемъ подвести всѣ типы подъ нѣсколько отдѣльныхъ рубрикъ, однако онъ показываетъ, что наблюдательность автора не ограничивалась однимъ близко ему извѣстнымъ офицерскимъ обществомъ, но проникала и въ среду нижнихъ чиновъ.

„Въ Россіи — говорить онъ—есть три преобладающіе типа солдатъ, подъ которые подходитъ солдаты всѣхъ войскъ: кавказскихъ, армейскихъ, гвардейскихъ, пѣхотныхъ, кавалерійскихъ, артилерійскихъ и т. д.

Главные эти типы, со многими подраздѣленіями и соединеніями, слѣдующіе:

- 1) Покорныхъ.
- 2) Начальствующихъ.
- 3) Отчаянныхъ.

„Покорные подраздѣляются на: а) покорныхъ хладнокровныхъ и б) покорныхъ хлопотливыхъ.

„Начальствующіе подраздѣляются на: а) начальствующихъ суровыхъ и б) начальствующихъ политичныхъ.

„Отчаянные подраздѣляются на: а) отчаянныхъ забавниковъ и б) отчаянныхъ.

„Чаще другихъ встрѣчающійся типъ, типъ болѣе всего милый, симпатичный и большей частію соединенный съ лучшими христіанскими добродѣтелями: кротостію, набожностію, терпѣніемъ и преданностію волѣ Божіей, есть типъ покорного вообще. Отличительная черта покорного-хладнокровнаго есть ничѣмъ не-сокрушимое спокойствіе и презрѣніе ко всѣмъ превратностямъ судьбы, могущимъ постигнуть его. Отличительная черта покорного-пьющаго есть тихая поэтическая склонность и чувствительность; отличительная черта хлопотливаго—ограниченность умственныхъ способностей, соединенная съ безцѣльнымъ трудолюбіемъ и усердіемъ.

„Типъ же начальствующихъ вообще встрѣчается преимущественно въ высшей солдатской сферѣ: ефрейторовъ, унтер-офицеровъ, фельдфебелей и т. д., и, по первому подраздѣленію начальствующихъ-суровыхъ, есть типъ весьма благородный, энергическій, преимущественно военный, не исключающій высокихъ поэтическихъ порывовъ (къ этому-то типу принадлежалъ ефрейторъ Антоновъ, съ которымъ я намѣренъ познакомить читателя). Второе подраздѣленіе составляютъ начальствующіе-политичные, съ некотораго времени начинающіе сильно распространяться. Начальствующій-политичный бываетъ всегда краснорѣчивъ, грамотенъ, ходить въ розовой рубашкѣ, не єсть изъ общаго котла, курить иногда мусатовъ табакъ, считаетъ себя несравненно выше простаго солдата и рѣдко самъ бываетъ столь хорошимъ солдатомъ, какъ начальствующіе первого разряда.

„Типъ отчаяннаго, точно такъ же какъ и типъ начальствующаго, хороши въ первомъ подраздѣленіи — отчаянныхъ забавниковъ, отличительными чертами которыхъ суть непоколебимая веселость, огромныя способности ко всему, богатство натуры и удаль, и такъ же ужасно дуренъ во второмъ подраз-

дѣлениі — отчаянныхъ-развратныхъ, которые, однако, нужно сказать къ чести русскаго войска, встрѣчаются весьма рѣдко, и если встрѣчаются, то бывають удалаемы отъ товарищества са-мимъ обществомъ солдатскимъ. Невѣріе и какое-то удалство въ порокѣ — главныя черты характера этого разряда.“

Въ дополненіе и какъ бы въ поясненіе этой классификаціи солдатскихъ типовъ, авторъ представляетъ нѣсколько лично-стей солдатъ, а именно: покорно-хлопотливаго Веленчука, лич-ность честную и въ высшей степени симпатичную, какихъ множество у насъ въ каждой части войскъ, затѣмъ образчи-ки начальствующаго-политичнаго, покорнаго-хладнокровнаго и отчаяннаго забавника. Всѣ эти лица являются какъ живыя. Между ними особенно выдѣляется типъ бомбардира Антонова, о которомъ уже упоминалось выше, и который, несмотря на всѣ очевидные его недостатки, невольно возбуждаетъ къ себѣ уваженіе. Это образецъ исправнаго, смиренаго, исполнительна-го, спокойно-храбраго солдата до тѣхъ поръ пока онъ трезвъ. Быда въ томъ, что повременамъ, конечно отъ бездѣлья и скучи, подобныя натуры, не находя исхода своей дѣятельности, загули-ваютъ, пьютъ безъ просыпу и тогда уже становятся совер-шенно другимъ человѣкомъ, непризнающими властей, буя-номъ, вступающимъ въ драки при всякомъ случаѣ. Таковъ и бомбардиръ Антоновъ; но въ самомъ загулы его есть что-то дѣйствительно энергическое, даже до вѣкоторой степени поэтическое. „Надобно было видѣть“ — говорить графъ Тол-стой — „этую невысокую, сбитую какъ жельзо, фигуру, съ короткими, выгнутыми ножками и глянцовитой усатой рожей, когда онъ, бывало, подъ хмѣлькомъ, возьметъ въ жилистые руки балалайку и, небрежно поглядывая по сторонамъ, заиграетъ „барыню“, или съ шинелью въ накидку, на которой болтаются ордена, и заложивъ руки въ карманы синихъ напковыхъ шта-новъ, пройдется по улицѣ—надо было видѣть выраженіе сол-датской гордости и презрѣнія ко всему не-солдатскому, играв-шей въ это время на его физіономіи, чтобы понять, какимъ образомъ не податься ему въ такія минуты, съ загрубившимъ или просто подвернувшимся деньщикомъ, казакомъ, пѣхотнымъ или переселенцемъ, вообще не-артилеристомъ, было для него совершенно невозможно. Онъ дралися и буянили не столько для собственнаго удовольствія, сколько для поддержанія духа всего солдатства, котораго онъ чувствовалъ себя представителемъ.“

Легко замѣтить, что этотъ типъ есть совершенное воспроизведеніе офицерскаго типа — удачныхъ джигитовъ Кавказа и забушеныхъ кутыль гусарщины, только въ болѣе грубой формѣ. Подобные типы теперь становятся уже рѣдкими, но врядъ ли можно предполагать, чтобы они вовсе исчезли, не только въ нашей, но и вообще во всѣхъ арміяхъ. Конечно, чѣмъ болѣе развито общество, чѣмъ выше стоитъ общий уровень общественнаго образованія, тѣмъ менѣе можетъ являться личностей, способныхъ выработатьсь въ подобный типъ; но совершенно исчезнуть этотъ типъ не можетъ, потому что основаніе отличительныхъ его качествъ непосредственно заключается въ такихъ чертахъ человѣческой натуры, которая не легко сглаживаются образованіемъ, а нерѣдко даже и поддерживаются имъ.

Рассказы, содержаніе которыхъ заимствовано изъ кавказской жизни, составляютъ какъ бы первые опыты графа Толстаго въ описаніи военного быта. Болѣе зрѣлымъ произведеніемъ его являются три отдѣльныя картины, изображающія великую севастопольскую драму; это какъ бы главы героической эпопеи, представляющія защиту Севастополя въ три наиболѣе замѣчательныя эпохи: въ декабрѣ 1854 года, въ маѣ и августѣ 1855. Въ свое время рассказы эти съ жадностю перечитывались: они почти первые познакомили наше общество во всей полнотѣ съ кровавой драмой и понынѣ нисколько не потеряли своего интереса, потому что это самая живая, а главное полная правдивости картина того, что было пережито Севастополемъ и его защитниками въ теченіе достопамятной осады. Хотя прошло уже болѣе двѣнадцати лѣтъ со времени появленія въ печати этихъ разсказовъ, однако всегда можно съ удовольствіемъ припомнить ихъ содержаніе, чтобы воскресить передъ глазами подвиги тѣхъ героевъ, которые останутся незабвенными въ нашей исторіи.

Въ первомъ разсказѣ „Севастополь въ декабрѣ мѣсяцѣ“, авторъ описываетъ посыщеніе имъ южной стороны, госпиталя переполненнаго ранеными и знаменитаго 4-го бастіона. Южная сторона имѣть еще видъ почти мирнаго города, въ которомъ только мѣстами замѣтны слѣды боевой жизни; солдаты, лошади, повозки, оружіе, все это попадается въ

городъ зачастую, но перемѣшанное еще со всѣми призна-
ками мирнаго процвѣтанія города. Городская жизнь въ пол-
номъ разгарѣ: вывески лавокъ, трактиры, купцы, женщи-
ны въ шляпкахъ и платочкахъ, щеголеватые офицеры, все
это какъ бы говорить о полной безопасности города, о спо-
койствіи его, несмотря на то, что на его окраинахъ, на
окружающихъ его укрѣпленіяхъ, идетъ уже давно весьма серь-
езная работа. Первое впечатлѣніе, производимое городомъ на
вновь прибывшаго, самое непріятное — говоритъ авторъ:—
„странное смѣшеніе лагерной и городской жизни, красиваго го-
рода и грязнаго бивуака не только некрасиво, но кажется отвра-
тительнымъ безпорядкомъ; вамъ даже покажется, что всѣ пе-
репуганы, суетятся, не знаютъ что дѣлать. Но взглянитесь
ближе въ лица этихъ людей, движущихся вокругъ васъ, и вы
поймете совсѣмъ другое. Посмотрите хоть на этого фурштат-
скаго солдатика, который ведетъ поить какую-то гнѣдову тройку
и такъ спокойно мурлыкаетъ себѣ что-то подъ носъ, что,
очевидно, онъ не заблудится въ этой разнообразной толпѣ,
которой для него и не существуетъ, но, что онъ исполняетъ
свое дѣло, какое бы оно ни было—поить лошадей, или таскать
орудія, такъ же спокойно и самоувѣренno и равнодушно, какъ
бы все это происходило гдѣ-нибудь въ Тулѣ или въ Саранскѣ.
То же выраженіе читаете вы на лицѣ этого офицера, который,
въ безукоризненно-бѣлыхъ перчаткахъ, проходитъ мимо, и въ
лицѣ матроса, который куритъ сидя на барикадѣ, и въ лицѣ
рабочихъ солдатъ, съ носилками дожидающихся на крыльцахъ
бывшаго собранія, и въ лицѣ этой дѣвицы, которая, боясь
замочить свое розовое платье, по камешкамъ перепрыгиваетъ
черезъ улицу.“

Это спокойствіе, отсутствіе суетливости, растерянности
или энтузіазма, опять-таки прямое слѣдствіе чисто-русскаго
характера, въ которомъ нѣть вовсе восторженности, напыщен-
ности при исполненіи какого-либо дѣла, какъ бы оно ни было
важно.

А дѣло было уже очень важно: въ этомъ легко убѣдиться,
посѣтивъ вмѣстѣ съ авторомъ перевязочный пунктъ, помѣщав-
шійся въ домѣ севастопольского собранія, и сходовъ на ба-
стіоны, гдѣ можно было видѣть защитниковъ Севастополя на
самомъ мѣстѣ защиты. Только здѣсь можно было понять и

оцѣнить этихъ героевъ, всю силу ихъ самоопожертвованія и твердости.

Кажется, невозможно было бы осязательнѣе очертить знаменитый 4-й бастіонъ и всю дорогу къ нему черезъ Язновскій редутъ, какъ то сдѣлано въ разсказѣ графа Толстаго. Вся эта изрытая мѣстность, постоянно обстрѣлиаемая не только орудійнымъ, но и штуцернымъ огнемъ, мастерски описана авторомъ. Слишкомъ много пришлось бы выписывать, чтобы ознакомить съ этой частію оборонительной линіи Севастополя и съ положеніемъ на ней нашихъ войскъ; потому перейдемъ прямо къ заключенію, которое дѣлаетъ авторъ, показавъ читателю славный бастіонъ. „Итакъ—говорить онъ— вы видѣли защитниковъ Севастополя на самомъ мѣстѣ защиты и идете назадъ, почему-то не обращая никакого вниманія на ядра и пули, продолжающія свистать по всей дорогѣ до разрушенного театра, идете съ спокойнымъ, возвысившимся духомъ. Главное отрадное убѣжденіе, которое вы вынесли (*), это убѣжденіе въ невозможности поколебать гдѣ бы то ни было силу русского народа, и эту невозможность видѣли вы не въ этомъ множествѣ траверсовъ, брустверовъ, хитросплетенныхъ траншей, минъ и орудій, однихъ на другихъ, изъ которыхъ вы ничего не поняли, но видѣли ее въ глазахъ, рѣчахъ, приемахъ, въ томъ, что называется духомъ защитниковъ Севастополя. То, что они дѣлаютъ, дѣлаютъ они такъ просто, такъ мало напряженно и усиленно, что вы убѣждены, они могутъ сдѣлать еще во сто разъ больше.... они все могутъ сдѣлать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляетъ работать ихъ, не есть то чувство мелочности, тщеславія, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, болѣе властное, которое сдѣлало изъ нихъ людей также спокойно живущихъ подъ ядрами, при ста случайностяхъ смерти, вмѣсто одной, которой подвержены всѣ люди, и живущихъ въ этихъ условіяхъ среди безпрерывнаго труда, бѣнія и грязи. Изъ-за креста, изъ-за названія, изъ угрозы, не могутъ принять люди эти ужасныя условія: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, рѣдко проявляющееся, стыдливое въ русскомъ, но лежащее въ глубинѣ души каждого — любовь къ родинѣ. Только теперь разсказы о первыхъ временахъ осады Севасто-

(*) Рассказъ этотъ былъ написанъ въ апрѣль 1855 года.

поля, когда въ немъ не было укрѣпленій, не было войскъ, не было физической возможности удержать его и все-таки не было ни малѣйшаго сомнѣнія, что онъ не отдается непріятелю, временахъ, когда этотъ герой, достойный древней Греціи—Корниловъ, объѣзжая войска, говорилъ: „умремъ ребята, а не отдадимъ Севастополя“, и наши русскіе, неспособные къ фразерству, отвѣчали: „умремъ! ура!“, только теперь рассказы про эти времена перестали быть для васъ прекраснымъ историческимъ преданіемъ, но сдѣвались достовѣрностю, фактамъ. Вы ясно поймете, вообразите себѣ тѣхъ людей, которыхъ вы сейчасъ видѣли, тѣми героями, которые въ тѣ тяжелыя времена не упали, а возвышались духомъ, и съ наслажденіемъ готовились къ смерти, не за городъ, а за родину. Надолго оставить въ Россіи великие слѣды эта эпопея Севастополя, которой героемъ былъ народъ русскій....“

Описаніе состоянія Севастополя въ декабрѣ мѣсяца изложено съ большею подробностю. Такъ какъ и самая оборона приняла болѣе обширные размѣры, то это обстоятельство непосредственно отразилось на разсказѣ автора, который выводить здѣсь значительно большее число лицъ, дѣйствующихъ въ разныхъ положеніяхъ и при разныхъ обстановкахъ.

Начинается разсказъ описаніемъ гулянья на севастопольскомъ бульварѣ подъ звуки хора, полковыхъ музыкантовъ; толпы всякаго, преимущественно военнаго, народа и женщинъ, преимущественно молодыхъ, частію въ шляпкахъ, частію просто въ платочкахъ, наполняютъ бульваръ какъ будто никто и не помышляетъ о непріятелѣ. Изъ числа образовавшихся на бульварѣ кружковъ, авторъ описывается на удачу одинъ, въ которомъ главную роль играетъ адъютантъ Калугинъ, типъ личныхъ адъютантовъ при начальникахъ войскъ. Личность Калугина выдержана какъ нельзя лучше въ теченіе всего разсказа; это образецъ въ высшей степени самолюбиваго, далеко не глупаго, но по преимуществу ловкаго на всѣ штуки офицера, считающаго себя необыкновенно важною особою по своему положенію, полнаго самоувѣренности и почти презрѣнія къ строевымъ офицерамъ. Говорить онъ въ обществѣ какъ-то единственно, желая тѣмъ показать, что знаетъ всѣ секреты высшаго начальства; онъ не лишенъ храбрости, хотя крѣпко не любить ходить на бастіоны; о дѣлахъ съ непріятелемъ судить лишь на столько, на сколько можно надѣяться получить за

дѣло награду. А какъ господа подобные Калугинымъ третируютъ строевыхъ офицеровъ авторъ очерчиваетъ слѣдующими немногими словами. Калугинъ съ гостями своими пьетъ чай. Въ это время въ комнату вошелъ пѣхотный офицеръ.

— „Я.... мнѣ приказано.... я могу ли явиться къ ген...., къ его превосходительству отъ генерала N?“ спросилъ онъ застѣнчиво, кланяясь.

„Калугинъ всталъ, но, не отвѣчая на поклонъ офицера, съ оскорбительной учтивостью и натянутой офиціальнай улыбкой, спросилъ офицера, не угодно ли имъ подождать, и, не попросивъ его сѣсть, не обращая на него больше вниманія, повернулся къ Гальцину и заговорилъ по-французски, такъ что бѣдный офицеръ, оставшись по серединѣ комнаты, рѣшительно не зналъ что дѣлать съ своей персоной.

— „По крайне-нужному дѣлу-съ“, сказалъ офицеръ, послѣ минутнаго молчанія.

— „А! такъ пожалуйте!“ сказалъ Калугинъ, надѣвая шинель и провожая его къ двери.

Но довольно обѣ этой личности; дай Богъ, чтобы типъ Калугиныхъ порѣже встрѣчался въ нашей армії.

Возвратимся съ авторомъ на бульваръ, гдѣ около Калугина образовался, такъ сказать, аристократической кружокъ офицеровъ, а именно адютантъ князь Гальцинъ, полковникъ Непердовъ, одинъ изъ такъ называемыхъ *ста-двадцати-двухъ свѣтскихъ* людей, поступившихъ на службу въ эту кампанію изъ отставки, и ротмистръ Праскухинъ, тоже одинъ изъ ста-двадцати-двухъ. Къ этому-то кружку съ робостью подходитъ пѣхотный штабсъ-капитанъ Михайловъ, простая, скромная натура, который однако испорченъ уже на столько, что чуждается своихъ товарищъ, ходящихъ безъ перчатокъ, въ верблюжьихъ штанахъ, въ обношенной шинели и говорящихъ громко. Михайловъ боится и не рѣшается подойти къ кружку Калугина, хотя знакомъ и съ Калугинымъ и съ Праскухинымъ. „Что ежели они вдругъ мнѣ не поклонятся“, думаетъ онъ, „или поклонятся и будутъ продолжать говорить между собою, какъ будто меня нѣтъ, или вовсе уйдутъ отъ меня, и я тамъ останусь одинъ между аристократами“. Послѣ долгихъ колебаний Михайловъ сдѣлалъ наконецъ усилие надъ собою и подошелъ къ кружку. „Къ счастію Михайлова, Калугинъ былъ въ прекрасномъ расположении духа (генералъ только-что по-

говорилъ съ нимъ весьма довѣренно и нынѣ Гальцина, проѣхавшися Петербурга, остановился у него): онъ счѣлъ неувидѣтъ, чтобы подать руку штабсъ-капитану Михайлову, чего не рѣшился, однако, сдѣлать Праскушинъ, весьма часто встрѣчавшійся на бастіонѣ съ Михайловымъ, неоднократно изливъ его вино и водку и даже должный ему по преферансу двѣнадцать рублей съ полтицой. Не зная еще хорошенько князя Гальцина, ему не хотѣлось изобличить передъ нимъ свое знакомство съ простымъ пѣхотнымъ штабсъ-капитаномъ. Онъ слегка покрасился ему».

Какъ вѣрно подмѣчена эта характеристическая сцена, вызывающая во всей полнотѣ пустое тщеславіе, чрезвычайно развитое въ нашемъ обществѣ. Весьма спрашивчиво замѣчаетъ графъ Толстой, что вообще тщеславіе составляетъ отличительную черту и особенную болѣзнь нашего вѣка. И какъ неумѣстно оно между такими людьми, которые, какъ защитники Севастополя, должны быть почти ежеминутно готовы къ смерти!...

Съ бульвара весь аристократический кружокъ отправился пить чай къ Калугину, въ его комфортабельной, уютной квартирѣ, обильно снабженной всѣми удобствами жизни. Чай подается на серебряномъ подносе, со сливками и крендельками; въ квартирѣ есть даже фортельяны; вся обстановка вообще такова, что, по выражению князя Гальцина, подобную хоть бы и въ Петербургѣ имѣть.

Въ то же время и штабсъ-капитанъ Михайловъ вернулся въ свою маленькую комнату съ землянымъ неровнымъ поломъ и кривыми окнами, заглѣщенными бумагой; увидавъ онъ здесь свою старую кровать съ прибитымъ надъ ней ковромъ, на которомъ изображена была амазонка и висѣли два тульскіе пистолета: увидавъ грязную, съ ситцевымъ одѣяніемъ, постель юнкера, который жилъ съ нимъ; увидавъ своего Никиту, который со взбушаренными, сальными волосами, почесываясь, всталъ съ полу; увидавъ свою старую шинель, личные сапоги и узелокъ, изъ котораго торчали кусокъ сыра и горлышко портерной бутылки съ водкой, приготовленной на бастіонѣ. Ему вспомнилось предстоящее удовольствіе сегодня же идти съ ротою на цѣлую ночь въ ложементы. Вѣдьный Михайловъшелъ въ траншеи не по очереди, а потому что самъ вызвался замѣстить большаго, и теперь у него зараждается предчувствіе,

что его непремѣнно убьютъ, на основаніи повѣрья, что убиваютъ того, кто напрашивается.... Чувство это не даетъ ему покоя и только глубокое сознаніе, что, вызвавшись идти, онъ исполнилъ свой долгъ, успокаиваетъ его. Онъ написалъ прощальное письмо къ отцу, и, простившись со своимъ именемъ Никитой, отправился съ ротою въ ложементы.

Ночь эта была тревожная: произошла упорная свалка въ ложементахъ, наши выбили французовъ, потомъ французы оттеснили нашихъ, а тамъ поспѣли подкрѣпленія и снова наши взяли верхъ. Все это, конечно, происходило какъ бы по вдохновенію, какъ-то само слагалось мелочными неуловимыми обстоятельствами, а вовсе не такъ, какъ изображается въ реалияхъ, сочиняемыхъ на другой день послѣ дѣла. Эту-то, если можно такъ выразиться, беспорядочность дѣла, вѣрно понять графъ Толстой, а потому у него и нѣтъ описанія собственно资料 самого дѣла: представлены лишь эпизоды его и притомъ преимущественно въ рассказахъ участниковъ. Кое-что сообщаютъ раненые бывшіе въ дѣлѣ, кое-что узнаете отъ прѣбывающихъ съ бастіона ординарцевъ; введенъ и хвастливый рассказъ юнкера — нѣмца Песта, который выставляетъ себя героемъ, между тѣмъ какъ въ сущности онъ растерялся и въ суматохѣ кого-то или что-то колнуль штыкомъ. Чтобы передать содержаніе этой части рассказа пришлось бы цѣликомъ цитировать автора, у которого нѣтъ ничего лишняго, все имѣть значеніе, все необходимо для полноты. Калугинъ, Михайловъ, Праскухинъ, Гальцинъ, даже денщикъ Никита и матроска, хозяйка Михайлова, всѣ служить обстановкою и необходимымъ дополненіемъ картины ночного дѣла.

Праскухинъ убить, Михайловъ легко раненъ, Калугинъ мечтаетъ о золотой саблѣ за дѣло. Все это изображено такъ живо, такъ естественно, что невольно увлекаетъ и переносить на самый театръ дѣйствій, какъ бы ставить самого читателя непосредственнымъ зрителемъ событий. Надо отдать сираведливость графу Толстому: онъ неподражаемъ въ изображеніи чисто-боевыхъ сценъ, и въ этомъ отношеніи какъ въ нашей, такъ и въ иностранныхъ литературахъ у него нѣтъ соперниковъ.

На другой день, вечеромъ, опять музика на бульварѣ и опять толпы гуляющихъ, между которыми главнымъ предметомъ разговора вчерашнее дѣло; каждый старается разумѣется

выставить свою долю участія и свои заслуги въ преувеличенномъ видѣ. И опять здѣсь тщеславіе и все тщеславіе.

Въ дополненіе разсказа о положеніи Севастополя въ маѣ мѣсяцѣ, авторъ дѣлаетъ читателя зрителемъ уборки убитыхъ во время перемирія, на другой день послѣ дѣла: здѣсь цѣлый рядъ сценъ, разговоровъ, обмѣна любезностей между нашими и французскими офицерами и солдатами. Картина эта невольно вызываетъ какъ бы протестъ автора противъ неестественности отношений, создаваемыхъ войною. „Тысячи людей толпятся, смотрѣть, говорить, улыбаются другъ другу. И эти люди—христіане, исповѣдующіе одинъ великий законъ любви и самоотверженія, глядя на то, что они сдѣлали, съ раскаяніемъ не упадутъ вдругъ на колѣни передъ Тѣмъ, Кто, давъ имъ жизнь, вложилъ въ душу каждого, вмѣстѣ съ страхомъ смерти, любовь къ добру и прекрасному и со слезами радости и счастія не обнимутся какъ братья?“

Подобные протесты невольно возникаютъ въ душѣ каждого мыслящаго человѣка, который видѣть въ войнѣ не одну славу, не одни блестящія соображенія, да красивую картину съ музыкой и барабаннымъ боемъ, съ развѣвающимися знаменами, да гарцующими генералами, но который способенъ изучить войну всесторонне, со всѣми ея разнообразными проявленіями, со всѣми ея тяжкими страданіями, съ пролитою кровью. Было время, когда изъ-за блеска военной славы не замѣчали или не хотѣли видѣть обратной стороны войны, когда жизнь человѣческую вовсе не цѣнили; въ тѣ времена и самыя описанія военныхъ дѣйствій были поверхностны, ограничивались блестящей стороной дѣла, оставляя въ пренебреженіи все то, что касалось бѣдствій и ужасовъ войны. Теперь исторія иначе относится къ военнымъ дѣйствіямъ: они изучаются до малѣшнихъ подробностей; теперь войны описываются не въ одномъ боевомъ отношеніи, но и въ административномъ, врачебномъ и другихъ отношеніяхъ.

Такого рода изслѣдованія не могутъ остаться безъ послѣдствій для современного общества: оно получаетъ болѣе данныхъ для ознакомленія съ самою дѣйствительностью войны, вѣрѣ же можетъ оцѣнить всѣ ужасы и бѣдствія ея, слѣдовательно и скорѣе можетъ бытьзвано на то, чтобы своимъ вліяніемъ и содѣйствиемъ уменьшать эти бѣдствія, отклонять слишкомъ частое ихъ повтореніе. Если война есть бѣдствіе, котораго

нельзя избѣжать, то по крайней мѣрѣ надо стараться о томъ, чтобы оно повторялось какъ можно рѣже и было сопряжено съ возможно-меньшими ужасами. Послѣднее отчасти уже достигается международными трактатами о нейтралізаціи вра-чебной части и допущеніемъ на театръ войны частной благо-творительности. Это новое явленіе было произведено изуче-ніемъ оборотной стороны военныхъ дѣйствій, того, что про-исходитъ въ тылу арміи, въ госпиталяхъ, на перевязочныхъ пунктахъ. Нѣть сомнѣнія, что современемъ, когда изученіе всѣхъ бѣдствій войны сдѣлается болѣе распространеннымъ, освободится отъ прикрывающаго ихъ тумана славы, тогда и самое возбужденіе войны станетъ болѣе труднымъ дѣломъ.

Третій изъ разсказовъ посвященъ изображенію Севастополя въ послѣдніе дни его обороны. Чтобы ярче выказать тогдани-е положеніе обороны, авторъ чрезвычайно искусно выводить на сцену молодаго, только-что выпущеннаго изъ кадетскаго корпуса, артилерійскаго прапорщика Козельцова. Съ юношой этимъ читатель встрѣчается на станціи Дуванкой, послѣдней по почтовому тракту къ Севастополю. Здѣсь уже слышатся выстрѣлы усиленного бомбардированія Севастополя, чувствует-ся близость страшнаго побоища. На станціи собралось цѣлое общество проѣзжихъ офицеровъ, ожидающихъ лошадей; тутъ же и транспорты съ ранеными, идущіе изъ Севастополя, транс-порты снарядовъ, направляющіеся къ этому городу; встрѣчач-ются лица, возвращающіяся къ своимъ частямъ изъ коман-дировокъ и госпиталей. Въ числѣ послѣднихъ случился и армей-скій поручикъ Михайло Козельцовъ, раненый 10-го мая оскол-комъ въ голову и теперь возвращающійся къ полку изъ сим-феропольскаго госпиталя. На станціи онъ сталкивается съ бра-томъ Владиміромъ, который подлежалъ выпускну изъ корпуса въ гвардію, но отказался отъ этого и вышелъ въ артилерію для того, чтобы имѣть возможность попасть въ Севастополь. „Вѣдь если здѣсь счастливо пойдетъ“— объясняетъ онъ брату— „такъ можно еще скорѣе выиграть, чѣмъ въ гвардіи: тамъ въ десять лѣтъ въ полковники, а здѣсь Тотлебенъ такъ въ два года изъ подполковниковъ въ генералы. Ну, а убьютъ, такъ чтоѣ дѣлать!“

Увлекающійся юноша, вмѣстѣ съ своимъ братомъ, опыт-нымъ, понатертymъ уже служаюю, главныя дѣйствующія лица, около которыхъ сгруппированъ весь разсказъ и вся другія вы-

водимыми авторомъ личности. Старшій Козельцовъ выручаетъ съ Дуванийской станціи своего неопытнаго брата и увозить на своей лошади въ Севастополь; сюда они прибываютъ сперва на сѣверную, гдѣ идутъ за справкою къ офицеру, завѣдывающему обоземъ; тутъ же знакомятся съ комиссіонеромъ, типомъ служаки изъ-за выгодъ безъ всякихъ возвышенныхъ увлечений; затѣмъ оба брата переходятъ на южную сторону, находящуюся передъ перевязочнымъ пунктомъ и отправляются къ своимъ частямъ: старшій Козельцовъ въ полку, стоящему на пятомъ бастионѣ, а младшій къ своей батареѣ, стоявшей въ резервѣ на Корабельной сторонѣ. Недолго послѣднему пришлось быть въ батареѣ: на другой же день его, по жребію, послали съ командою на мортирую батарею, а черезъ день онъ погибъ при штурмѣ французовъ 27-го августа. Въ тотъ же день погибъ и старшій Козельцовъ.

Такова главная нить разсказа: къ ней авторъ съ удивительною полнотою привязываетъ цѣлый рядъ картинъ, мастерски обрисовывающихъ положеніе Севастополя и его защитниковъ въ послѣдніе дни передъ очищеніемъ южной стороны. Ничто не забыто: реальено выставлено и то общее утомленіе и та безнадежность, которыя невольно овладѣли всѣми къ этому времени въ виду громадности силъ и средствъ противника, и та покойная, почти вошедшая въ привычку, стойкость и храбрость, которыя составляютъ неувядаемую славу севастопольцевъ. Положеніе города, укрѣпленій, солдатъ, общества офицеровъ разныхъ частей, начальниковъ этихъ частей, все очерчено съ такой полнотою, которой нельзѧ не удивляться.

Только съ манерою разсказа, лично принадлежащей графу Толстому, только съ его сжатымъ, но выразительнымъ и опредѣлительнымъ слогомъ можно было такъ ясно и полно изобразить столь обширную картину, не упустивъ въ ней ничего изъ тѣхъ мелочей, которыя незамѣтны для простаго зрителя, но важны для общей характеристики. Внутренность блиндажей, общій видъ укрѣпленій, офицерскія квартиры, ихъ хозяйство, настроеніе умовъ, разговоры солдатъ, все подмѣчено чрезвычайно вѣрно, передано съ такою сжатостію, которая не утомляетъ читателя, знакомить его съ самыминичтожными подробностями. Безспорно, изъ всѣхъ военныхъ разсказовъ графа Толстаго это самый лучшій: тутъ видна уже полнота богатаго

и своеобразного таланта, столь широко развившагося въ послѣднемъ его капитальномъ произведеніи „Война и миръ“.

Въ разсказѣ „Севастополь въ августѣ“, графъ Толстой является не только повѣстователемъ, но и глубокимъ психологомъ, проникающимъ во всѣ сокровенные тайники сердца описываемыхъ имъ лицъ. Воспроизведя самыя простыя, обыкновенныя личности, авторъ показываетъ намъ, какъ постепенно подъ различными вліяніями мѣняются ихъ взгляды и чувства, какъ самыя эти лица, подъ впечатлѣніемъ окружающаго ихъ, почти перерождаются въ совершенно другихъ людей. Полнѣе всего, въ этомъ отношеніи, авторъ обрисовываетъ личность Козельцова младшаго, къ которой относится съ особеною любовью и сочувствіемъ. Да и читатель невольно увлекается сочувствіемъ къ этому симпатическому юношѣ. Напросившись быть выпущеннымъ въ дѣйствующія войска, Козельцовъ спѣшилъ въ Крымъ, чтобы скорѣе сдѣлаться участникомъ знаменитой обороны, мечталъ объ отличіяхъ, о томъ, какъ его всѣ тотчасъ же замѣтятъ, какъ онъ станетъ какимъ-то небывалымъ еще героемъ. Но всѣ мечты юноши разсѣялись передъ дѣйствительностю: прибывъ въ Севастополь съ понятіями о войнѣ заимствованными изъ учебниковъ, онъ думалъ увидѣть здѣсь что-то стройное, красивое, эффектное, найти во всѣхъ полное героизма настроеніе. И вдругъ находить все въ совершеніи иномъ видѣ: всѣ утомлены, никто уже не рвется въ дѣло, всюду смерть, кровь, разореніе; тутъ-то юноша почувствовалъ, какъ рѣзко онъ оторванъ отъ всего прошлаго и брошенъ въ невѣдомый ему, странный по своей обстановкѣ миръ. Всѣ его юношескія, радужныя мечты разомъ рушились; на сердце налегла невыносимая тяжесть.

Приписывая такое разочарованіе своей трусости, недостатку храбрости, бѣдный мальчикъ приходитъ въ совершенное отчаяніе; его мучитъ мысль, что онъ на столько низокъ, подъ, что боится умереть за отечество, за царя, о чёмъ прежде мечталъ съ наслажденіемъ. Однако въ дѣйствительности онъ не трусь, потому что, какъ показали послѣдствія, умѣлъ исполнять свой долгъ какъ слѣдуетъ. Сначала теплая молитва, а на другой день дѣятельность скоро разогнали беспокойвшія Козельцова чувства; получивъ назначеніе на Малаховъ Курганъ, онъ явился туда уже молодцомъ. Сознаніе, что исполняетъ свою обязанность, чувство командованія и присутствіе

двадцати человѣкъ команды, которые, онъ зналъ, съ любопытствомъ смотрѣть на него, все это не допускало въ юношѣ даже мысли объ угрожающей ему опасности. Но дѣятельность его была непрерывна: на другой же день послѣ назначения его на батарею, французы штурмовали Малаховъ Курганъ и младшій Козельцовъ погибъ, какъ истый артилеристъ, на батареѣ, возмѣ орудій гаубицъ непріятель.

Познакомить вполнѣ съ разсказомъ „Севастополь въ августѣ“, нѣть возможности при ограниченныхъ размѣрахъ журнальной статьи: въ этомъ разсказѣ такъ много хорошаго, чѣмъ затрудняешься въ выборѣ тѣхъ мѣстъ, на которыхъ можно было бы указать преимущественно. Сколько поразительной картиности, сколько полноты чувства въ изображеніи оставления нашими войсками южной стороны и перехода ихъ на сѣверную! Авторъ превосходно оцѣнилъ и мастерски выразилъ тѣ ощущенія, которыя волновали въ эту минуту каждого, отъ генерала до послѣдняго солдата. Полагаемъ, что вместо всякихъ похвалъ таланту графа Толстаго, мы не можемъ лучше закончить нашу статью, какъ приведя цѣлкомъ это въ высшей степени поэтическое и поразительно-вѣрное описание послѣдняго эпизода достопамятной обороны.

„Севастопольское войско, какъ море въ зыблivую мрачную ночь, сливалось, развиваясь и тревожно трепеща всей своей массой, колыхаясь у бухты, по мосту и на сѣверной, медленно двигалось въ непроницаемой темнотѣ прочь отъ мѣста, на которомъ оно оставило храбрыхъ братьевъ,—отъ мѣста, всего облитаго его кровью, отъ мѣста, одиннадцать мѣсяцевъ отстаиваемаго отъ вдвое сильнѣйшаго врага и которое теперь вѣльно было оставить безъ боя.

„Непонятно тяжело было для каждого русскаго первое впечатлѣніе этого приказанія. Второе чувство было страхъ преслѣдованія. Люди чувствовали себя беззащитными, какъ только оставили тѣ мѣста, на которыхъ привыкли драться, и тревожно толпились во мракѣ у входа моста, который качалъ сильный вѣтеръ. Сталкиваясь штыками и толпясь полками, экипажами и ополченіями, жалась пѣхота, проталкивались конные офицеры съ приказаніями, плакали и умоляли жители и деньщики съ клажею, которую не пропускали; шумя колесами, прибивалась къ бухтѣ артиллериа, торопившаяся убираться. Несмотря на увлеченіе разнородными суетливыми занятіями, чувство само-

сохраненія и желанія выбраться какъ можно скорѣе изъ этого страшнаго мѣста смерти присутствовало въ душѣ каждого. Это чувство было и у смертельно-раненаго солдата, лежащаго между пятьюстами такими же ранеными, на каменномъ полу Павловской набережной, и просыщааго Бога о смерти, и у ополченца, изъ послѣднихъ силъ втиснувшагося въ плотную толпу, чтобы дать дорогу верхомъ проѣжающему генералу, и у генерала, твердо распоряжающагося переправой и удерживающаго торопливость солдата, и у матроса, попавшаго въ движущійся баталіонъ, до кончины дыханія сдавленнаго колеблющейся толпой, и у раненаго офицера, котораго на носилкахъ несли четыре солдата и, остановленные смершимся народомъ, положили на землю у Николаевской батареи, и у артилериста, шестнадцать лѣтъ служившаго при своемъ орудіи и, по непонятному для него приказанію начальства, сталкивающаго орудіе, съ помощью товарищѣй, съ крутаго берега въ бухту, и у флотскихъ только-что выбывшихъ за-кладки въ корабляхъ и, бойко гребя на баркасахъ, отплывающихъ отъ нихъ. Выходя на ту сторону моста, почти каждый солдатъ снималъ шапку и крестился. Но за этимъ чувствомъ было другое, тяжелое, сосущее и болѣе глубокое чувство: это было чувство, какъ-будто похожее на раскаяніе, стыдъ и злобу. Почти каждый солдатъ, взглянувъ съ сѣверной стороны на оставленный Севастополь, съ невыразимой горечью въ сердцѣ вздыхалъ и грозился врагамъ."

* * *

(Продолженіе будетъ.)